

Дорогие друзья, дорогие мои читатели!

Буквально несколько дней назад завершил я повесть «Поплавок из осокоря», над которой работал несколько лет. Повесть эта о Волге и уходящей, почти ушедшей уже волжской натуре – дебаркадерах, что были настоящими домиками на воде, старых бакенищиках, рыболовах, капитанах и шкиперах, о людях, Волгой живших и дышавших. А ещё о детстве и об отце, прекрасном волжском поэте Владимире Ивановиче Пыркове.

Рад поделиться с Вами несколькими страницами.

ПОПЛАВОК ИЗ ОСОКОРЯ.

(Фрагменты повести)

* * *

Когда-то давно отец придумал такую игру – «Угли».

На рыбалку или в походы брать меня было ещё рано – мама не отпускала. А отцу очень хотелось, чтобы я прикипел поскорее к рыбацкому делу. Мечта у него прикровенная была – рыбачить вместе со мной. «Ну когда уже Ваня подрастёт?» – снова и снова спрашивал отец маму, будто не веря в мой рост. «Э, погоди чуть-чуть, и Ванечка сам тебя начнёт на рыбалку таскать», – отвечала мама.

Отец только вздыхал в ответ.

А потом устроил всё так, чтобы я мог приобщиться к таинству рыболовного похода, не выходя из дома. Отец доставал со шкафа старую ёлочную гирлянду – медленно, словно нехотя перемигивающиеся звёздочки – сгребал её посреди тёмной комнаты и включал в розетку: как будто бы костерок рыбацкий начинал мерцать у нас дома. Иногда папа шерудил мигающую горку деревянным колышком, дул на неё, точно бы на стихающие угольки, и казалось, что костерок наш разгорается с новой силой. А всё остальное – и ночную воду, и неверные озёрные отражения (бликов костра, спящих деревьев, чьих-то силуэтов), и таинственный скрип уключин, и всплески неведомых рыб, и крики ночных птиц, и котелок с дымящейся ухой – мы с ним допридумывали.

И вот он говорит тихонечко, шёпотом:

– Ты за ухой-то присматриваешь?

– Присматриваю.

– Попробуй, уже готова?

И я отвечаю тоже шёпотом, приподнимая воображаемую крышку над воображаемым котелком и пробуя воображаемую уху:

– Готова!

– Ну как?

– Сегодня самая вкусная!

И мы с отцом внимательнее всматриваемся в таинственную темноту, в которой можно различить, зависимо от возраста, и прошлое, и будущее. Если ты на берегу реки, пусть пока и воображаемой, то у тебя впереди столько встреч, столько новых впечатлений и открытий!..

* * *

Перед выходными, в пятницу, а то и в четверг вечером, наш дом превращался в настоящую рыболовную лабораторию. С «терраски», как папа говорил, являлся старый брезентовый чехол с бамбуковыми удилищами и ольховыми кольшками-рогульками. Удилища нужно было собирать, ввинчивая колено в колено, и особенно длинные подсечки заглядывали повсюду, как антенны шпионов-лазутчиков. На полу стояли заполненные водой банки, в которых испытывались на грузоподъёмность поплавок, на плите весело булькала-варилась в кастрюльке пахучая прикормка, с обязательным добавлением драгоценного колоба, пахло разогретым оловом – посреди кухни, на обеденном прямо столе, отец паял мормышки и ладил прочие снасти. Под неодобрительные взгляды мамы, само собой.

У отца было несколько заветных коробочек – с грузилами, мормышками и крючками, блёсенками, поплавочками, мотками лесок. С этими всеми снастями папа, надо сказать, учудил однажды. Мы с ним учудили. Для отца налаживание удочек было сродни священнодействию, и особенно трепетно относился он к поплавкам. Если слышал от кого-то, что, мол, «рыба клюёт не на поплавок», по-настоящему горячился и произносил целую отповедь по поводу такого некомпетентного, дилетантского мнения. С поплавками в ту пору дело обстояло сложновато. Добротные, с проводными колечками, веретенообразные и в форме конуса, да ещё ваньки-встаньки, переворачивающиеся при поклёвке, да ещё гусиные перья. И только. А настоящими, спортивными поплавочками разжиться удавалось редко, а если и удавалось, то чаще всего – в Москве. Ну и мы с папой как-то, в затянувшееся чуть ли не до мая межсезонье, выработали план: попросить московских знакомых купить в столичных спортивных магазинах несколько поплавков и прислать нам, на Волгу, обычной бандеролью. Сказано – сделано. Приходит посылка, и мама приходит с работы. Что это, спрашивает, у вас такое. Мы открываем с папой аккуратненькую пенопластовую коробочку, а там – поплавочный рай. Тоненькие, кургузенькие, с антеннами, кругленькие, разборные, самоогружающиеся. Один, особенно нас потрясший, даже двойной: к изящному полосатому квадратику прикреплялся на тончайшей проволочке алый треугольничек из неизвестного материала – рыба когда клюёт, тонет сначала большой поплавок, а затем маленький.

«Это произведение искусства!» – воскликнул отец. «А это цена», – холодно заметила мама. И добавила: «Сто пятьдесят рублей. Значит, есть будем хлеб с таким и поплавками заедать». И ушла в спальню, не желая слушать наших с отцом объяснений.

С деньгами потом мы как-то выкрутились, у отца где-то напечатали большую подборку стихов, премия за книжку подоспела, и мамина обида сгладилась. Она и так бы сгладилась – мама нас всегда прощала и, в сущности, потакала нашим с папой рыболовным безумиям. А коробочка осталась. Жаль только, со временем, когда стали появляться всё новые и новые снасти, её исключительность пошатнулась. Но сколько восторгов она успела принести, как сильно заставляла биться сердце!

Понимаете, мы с папой начинали сезон обязательно в заливных лугах, когда полая вода затапливает любые углубления, бочажины, болотца, становящиеся на целый месяц озёрами. В это юное время даже глубокая колея полевой дороги может обернуться чудо-озерцом. Всюду слышится вода, дышит вода – пьяняще, свежо. И ветер дует с воды. И вести, самые главные майские вести, доносятся оттуда, с водной шири. «На сколько повысился уровень за день... не затопило ли дамбу... как долго будут держать воду... зашёл ли сазан в луга... стала ли шершавой, как наждак, сорога...»

Наверное, отцу подобная ловля, прямо среди лугов, напоминала о пойме его детства, и он с особым волнением наблюдал за поклёвками, за тем, как пляшет на озёрном зеркале изящный ярко-полосатый поплавочек. Я так и запомнил: терпко-сладкий запах первой майской зелени, жёлтые одуванчики, шагающие всё ближе и ближе к полой синей воде, взволнованные оклики прилетающих птиц, прошлогодние тростниковые заломы... И майский утренний холодок, и дрожь в горле, когда вот-вот, вот-вот уже забросишь лёгкую удочку в весёлую весеннюю рябь и растворишься в неоглядной, стонущей жерлянками, гудящей комарьём, торжествующей пойме. Пойма для меня с тех, детских лет – что-то непостижимое, что-то священное. Как весна, ни о чём другом не могу думать, кроме как о пойменных лугах. Что уж и говорить – прикипел...

Папа терпеть не мог грубых поплавок, толстых лесок, тяжёлых грузов. Он был рыболовом лёгкого касания. Хотя в его рыбацких закромах находились и выдавшие виды донные снасти.

...Вот папа разворачивает дома перед рыбалкой небольшое такое рыболовное опытное производство, а сам рассказывает мне, главному его домашнему слушателю, о заливных озёрах своего детства. Он говорит образно, просторно, он любит и ценит слово, и мне трудно сейчас передать его живую речь.

– Это всё не то, – машет он рукой куда-то в сторону Волги, – ну море и море. Всегда волна, всегда муть, всегда моторки ревут. Если только в пойму куда-нибудь выбраться. Но как далеко ехать, идти... А мне повезло – моё детство проходило среди заливных озёр. Представляешь? В Симбирске мы жили в доме на Венце, на Спуске Железной Дивизии. Я просыпался и видел из окошка синие-синие чаши озёр в изумрудной луговой зелени. Ты только вслушайся в их названия, нет – в их имена: Ромашкино, Тростяное, Окунёвое, Лебяжье. Или такое – Часы. Или Наташкино, названное, может быть, в честь дочери лесника. Или Изумор. Самое чистое было озеро – Изумор. И непостижимое. Глубокое, с крутыми ярами, с белыми кувшинками, с какой-то живущей в нём тайной, изумительно красивое. Доберёшься до него утром, до солнца, и обязательно

клонет три-четыре леща. Не бледные склизкие сегодняшние лещишки, нет, настоящие чернопёрые лещи с тёмно-золотым отливом. Подносы! Дойти до него не каждый решался – далеко оно в лугах пряталось, где травы до сенокоса – в человеческий рост. А ещё заросли ежевики, цепкие, упрямые. И шиповник всюду. В июне луга полыхали от шиповникового цвета, осенью – от ягод шиповника. Иди, собирай, можешь мешок за день набрать крупной, доброй ягоды. На всю зиму света запасёшь. Правда, исколешься весь, устанешь... Сначала, весной, Волга разливалась широко, привольно, не так, как теперь, сжатая бетонными тисками. Если снега вдоволь выпадало зимой, то и воды было вдоволь. И половодье бушевало где-то с месяц, до конца мая. А как вода спадала, начинали обозначаться озёрные берега. Дом наш был на самом взгорке старого Симбирска, на Венце, и с детства я полюбил эту картину – рождение озёр. Сколько раз видел, как рождаются заливные озёра. Это же просто сказка. Луга изумрудно-зелёные, а озёра – синие-синие. Чистый синий цвет, без примесей. Она у меня до сих пор перед глазами, синяя моя июньская пойма, синяя даль. К началу июня можно было собираться рыбачить, мы красили масляной краской ореховые удилица, они получались лёгкие и гибкие, вместо лески в дело шёл необрываемый конский волос, у счастливцев – жилка «Сатурн», на которую смотрели, как на диво дивное, крючки большие, с длинным цевьём, стерляжки, отец, ну дед Иван твой, разживался ими у знакомого бакенщика. Поплавки – из пробочки. Грузила – пара охотничьих дробинок. Представляешь, если бы сейчас, с нашими тонкими снастями, туда попасть! Эх, если бы вернуться можно было...

Какое было озеро – Светлое! На нём время как-то растягивалось. И дом наш, на Венце, виден был. Пусть и издалека – а виден. Рыбачишь, и веришь, что день будет длиться вечно. И все грозы, даже самые тёмные, заканчивались там высокими радугами. И берега у него открытые, с песочком золотым. Светлое, одним словом. От него и на душе светло.

...Отец всегда приостанавливал рассказ, когда говорил о Светлом, лучики-морщинки в уголках его глаз весело разлетались, но и грустная тень пробежала по лицу.

– Там, – в который уж раз говорил папа, – я встретил однажды старого рыбака, живущего прямо на берегу, в землянке. Он показывал мне собственноручно вырезанный из древесной коры поплавок – и с тех пор я гадаю, что это была за кора. Обязательно как-нибудь сделаю такой – ты удивишься. Никогда его не забуду. Изящно пропущенный сквозь леску, овальной аккуратненькой формы, летит легко, ложится на воду беззвучно, приметен на воде, даже на ряби, идеально, потому что чуть краснеет от соприкосновения с водой.... С тех самых пор всё хочу такой же сделать, но никак к делу не приступлюсь. То руки не доходят, то коры подходящей нет, а то и страшно: вдруг не выйдет?

И я всегда, знаешь, приносил домой охапку цветов луговых, особенно подмаренника, который под маревом расцветает, к концу июня расходитя, самый любимый мой с детства медонос, и мама, баба Катя твоя, ставила цветы в банки – вазы у нас не было. А после я засыпал где-то на сутки. Как закрою

глаза – так и вижу тонущий поплавочек, и всё хочу сделать движение рукой, подсечь... А сейчас закрываю глаза – и вижу озёра, навсегда канувшие в пучину.

Навсегда...

* * *

Отец открывает книгу – для меня наступает праздник. Отцовское чтение вслух всё равно как заклинание или молитва. Торжественно является со шкафа старинный том, и отец с выражением – нараспев – произносит:

– Сергей Тимофеевич Аксаков. «Записки об уженье рыбы».

И тихонечко добавляет:

– Дореволюционное издание.

И для пущей таинственности, как будто не книгу читать, а сказку собираются сказывать, раскатисто шепчет:

– Пом-м-м-Бом-м-м!..

И начинает:

– «Настоящему рыбаку, охотнику-артисту, необходимо изучение нравов рыб, а это самое трудное и тёмное дело, хотя рыбы живут и в прозрачных чертогах».

Я толком не понимал, что такое «дореволюционное», и что такое «чертоги». Но у меня мурашки по коже разбежались. Слушая папиного Аксакова, я представлял себе сказочные реки, хрустальные озёра, величественные шатры дерев. И стада рыб с золотыми спинами. А отец делал многозначительную паузу и восклицал, обращаясь ко мне и к себе, наверное, тоже:

– В прозрачных чертогах! Ты понимаешь, как это замечательно сказано: в прозрачных чертогах...

Дальше он переходил к какой-нибудь новой главке. И с любовью выговаривал её название:

– «Наплавок». Вслушайся только в слово – не поплавок, нет, а наплавок. Как точно, как легко, как зримо. На-пла-вок...

И принимался читать:

– «Наплавком называется небольшая, обыкновенно круглая или овальная, палочка... из лёгкого дерева или древесной коры осокоря...»

Отец откладывал книгу, снимал очки и смотрел так, как будто он теперь далеко-далеко.

Если отец задерживался в редакционных командировках, или уезжал на рыбалку, я просил почитать мне «Записки об уженье рыбы» маму. Уставшая после работы, она самоотверженно соглашалась, но проговаривала слова торопко, и не делала восхищённых пауз, и забывала про торжественное «Пом-м-м-Бом-м-м». И я протестовал, и пытался складывать буквы сам, но тайнопись старинной книги не поддавалась и моему детскому лепету. Куда-то пропадали они, сказочные реки, рассыпались хрустальные озёра, тускнели шатры дерев. И исчезали в озёрной глубине стада рыб с золотыми спинами. И кора осокоря теряла свои драгоценные свойства.

... – Жди отца, – устало улыбается мама. – Мы так не сможем...

* * *

У Батяки не было дома рабочего стола, как у всякого «нормального» писателя, «пашущего» от сих до сих. Да отец ни в жизнь за таким столом и не стал бы работать – всё, имеющее хотя бы отдалённый намёк на официоз, подвергалось с его стороны мягкому презрению. Зато у него был подоконник. На кухне.

С возрастом, особенно когда начал хворать и не мог выйти из дому, Батяка обживал подоконник всё основательнее и основательнее.

О, это уже был не подоконник в обывательско-бытовом смысле, конечно же, а остров, причал, ковчег!

Здесь, на нешироком совсем просторе, находилось место открытым книгам, альбомам со старинными фотографиями, серым листам, ждущим своего часа. Книги говорили здесь, книги смеялись и плакали. Батяка писал стихи или рассказы только чёрной ручкой на неглянцева, простецкой бумаге – никаких печатных машинок, ничего подобного. А мог что-то набросать простым, остро заточенным карандашом. «Бумага», «планшет», «грифель» – вот его словник. И на Батякином ковчеге-подоконнике всегда точились карандаши, валялась карандашная стружка. Ещё дымился стакан с чаем. Раньше, когда был помоложе, папа любил пить чай из жестяных кружек – «порыбацки». Иногда даже из бокалов. Но потом перешёл на обыкновенные гранёные стаканы. «Как в Симбирске, на спуске Железной Дивизии, в детстве», – объяснял он свою привязанность.

Что ещё? Небольшой радиоприёмник, по которому отец слушал какие-то свои собственные, не похожие ни на что на свете новости. Когда Батяка пересказывал мне их, казалось, что антенна его приёмника ловит волны другой планеты.

Как-то весной мама сделала, помню, пару попыток прибраться в Батякиной подоконниковой вселенной. Что-то протёрла, что-то унесла на шкаф, что-то вообще выбросила. Отец и ругаться-то не стал: просто восстановил всё, как было. Не забыв и про помятый листок календарика, где отмечал уровень и температуру воды на Волге, долготу дня и прочие важнейшие сведения.

Подоконник – величина постоянная. А Батяка любил постоянные величины. И меня учил своему, особому постоянству.

Время от времени на листах белой бумаги проступали карандашные рисунки: старый закопчённый рыбацкий чайник, рогульки в воде, на которые положены удилица, горка искристых замёрзших окуней около рыбацкой луночки, вёсла, прислонённые к дереву, кувшинки. И наброски поплавков – самодельных, пробочных, летних и зимних...

...Да, как же я забыл, Батякин оконный плацдарм украшался луговыми цветами в банках. Он самый, боготворимый им подмаренник! Летом живой, зимой – засушенный. Мы с милой моей Таточкой специально приносили яично-

жёлтые духмяные букеты из летних походов, и называли это «собрать для Батки ботанику».

«Ботанике» отец радовался, распознавал среди донника, ромашек и клевера любимый свой со времён заливных озёр медонос. И пойманную нами рыбу рассматривал внимательно-ревностно: «Эту на ущицу, эту котяткам...»

Когда был в духе, просил:

– А вот этого подлещика мне поджарьте.

Или ещё так бывало. Дождётся меня Батка с работы, как бы поздно я ни вернулся, покачает головой критически, какой бы новостью я ни похвалился, и тогда уж только оставит свой пост у окна, пойдёт тихонечко подремать.

У последнего Баткиного бастиона имелось и ещё одно стратегическое предназначение. Это был действительно пост, наблюдательный пункт. Я таким отца и запомнил: вот он сидит в летний жаркий полдень перед открытым окошком, перед ним несколько исписанных карандашом листов, он наблюдает за небом, смотрит внимательно вдаль, потому что вот-вот должна прилететь Курица. Так мы звали потрясающе красивого рыжего голубя, прилетавшего откуда-то каждый день к нам на балкон в течение долгого времени и буквально с Баткой породнившегося.

Батка считал Курицу необыкновенно умной. Связывал её посещения со знаками судьбы. И полагал, что прилетает она к небу на балкон через Волгу, с Большого озера, о котором пойдёт речь дальше.

Ни одна новость, ни одно событие не могло перевесить на вселенских весах для Батки явление Курицы.

Если Курица иной раз не являлась, то Батка был мрачнее тучи. А если навещала его, то он радовался, что ребёнок.

Курица появлялась откуда-то свысока, прямо из кучевых облаков. И вот папа всматривается, всматривается, а потом вдруг громко так говорит: «Курица летит! Курица летит!»

И идёт, опираясь на палочку – колено бамбукового удилица – на балкон, чтобы покормить любимую птицу, чтобы сказать ей то, что уже не хотел или не мог говорить никому другому...

* * *

– Опять ты забиваешь ребёнку голову заливными озёрами, и лугами, и рыбалкой, а у него двойка в четверти и контрольная на носу, – качала головой мама. И вдруг, сменив речь, прибавляла тихонько:

– Какое всё-таки красивое имя у озера – Светлое!

И смолкала как бы на полуслове, и отец смолкал и принимался, вместе со мной, снова разбирать свои рыболовные коробочки и испытывать чудесные поплавки – самых разнообразных расцветок и форм.

Только осокоревого среди них пока ещё не было...

Иван Пырков